

## ДИТЯ ХХ СЪЕЗДА

*Секретный доклад Никиты Хрущева потряс кремлевский зал, страну и мир*

Голос Истории звучит глуховато, неторопливо, печально, чуть комично. «Сталин груб был и невнимателен был, значить... Он такой сухой даже, если не грубый, так сухой, корявый человек». Отставной советский вождь Никита Хрущев диктует свои воспоминания. Перед ним громадный радиотелекомбайн со встроенным магнитофоном, подарок Героя Советского Союза Насера. Позади — власть над шестой частью планеты, позор изгнания. Перед глазами — товарищ Сталин, которого он сам выгнал из мавзолея. Бывший первый секретарь ЦК КПСС тайком от бывших товарищей подводит итоги прожитой жизни.

### Из грязи в князи

Это была удивительная жизнь.

Рабочий паренек из села Калиновки Курской губернии, он с 12 лет вкалывал на заводах и шахтах Донбасса, о чем с удовольствием вспоминал потом на самых разнообразных трибунах. В самом деле, биография Никиты Сергеевича полностью соответствовала коммунистическим мифам. На второй год революции он уже состоял в партии большевиков. Воевал с бело-гвардейцами. Устанавливал советскую власть на Украине. Прошел все ступени партийной карьеры, получив одновременно какое-никакое образование в столичной Промакадемии. После сталинских чисток занимал место расстрелянных и запятанных: во главе партруководства Москвы, Украины, на постах кандидата, а с 1939 года — члена политбюро ЦК ВКП(б). Воевал, как и все наши партайгеноссен, осуществляя общее руководство над генералами, дослужился к концу войны до генерал-лейтенанта... После победы вернулся сперва на Украину, затем снова в Москву.

Как и все сталинское руководство, он запятнал себя участием в чудовищных преступлениях режима. Как почти все они, был живым воплощением ленинской мечты о кухарке, способной управлять государством. Или, говоря языком дореволюционной эпохи, выбился из грязи в князи. Малограмотный, с дикими, даже какими-то первобытными представлениями о культуре, истории, политике, окончательно замусоренными партийной пропагандой, Хрущев был классическим сталинистом. Маленький, темпераментный, агрессивный, быстро лысеющий, с визгливым голосом и путаной речью, он казался чуть ли не самым образцовым из того «сброда тонкошеих вождей», которых Мандельштам рифмовал с «полулюдьми».

Глядя на Горбачева в конце 80-х минувшего столетия, мы поражились: откуда он там взялся, в той системе, безукоризненно заточенной на отрицательный отбор? Однако безальтернативный наш Горби рос и мужал в годы хрущевской оттепели, когда обществу дозволено было задуматься о себе, своем прошлом и будущем. Никита Сергеевич воспитывался в атмосфере совершенно иной. В эпоху «Краткого курса», тотальной лжи, тотального страха, тотального произвола, тотального безмыслия. Вот откуда он взялся через три года после смерти Сталина, отчего именно он стал символом и проводником тогдашней перестройки, что за сила, схватив за шиворот, повлекла его к правде и свободе — вопрос посерьезней.

Теперь, оглядываясь назад, в немислимые тамерлановские дали, можно, конечно, выстраивать разнообразные политологические схемы. Доводилось читать о том, будто Хрущев пришел к власти, выполняя некий общественный заказ. Мол, социум устал от репрессий, и Никита Сергеевич угадал запросы гуманизирующегося на глазах населения. Однако надо же представлять себе то общество: смертельно запуганное, выкошенное террором и войной, очень бедное, сплошь пронизанное сексотами, оно едва ли было способно внятно проартикулировать вольнолюбивые свои мечты. Разве что робко намекнуть на возможность «оттепели», как Эренбург, или вместе с

Померанцевым задуматься «об искренности в литературе». За это их били — и Эренбурга, и Померанцева.

Ближе к истине другая версия. От сталинского террора устала власть, пресловутое ближайшее окружение Сталина, которое он после XIX съезда намеревался основательно зачистить, что послужило, если верить легенде, главной причиной его скорострительной смерти. За схожие мысли удостоился пули в тюремном подвале тов. Берия. Плодотворная идея, владевшая группой наследников сталинской империи, сводилась к тому, чтобы спокойно жить и править страной «в пределах ленинских норм», не опасаясь того, что завтра тебя выведут на открытый процесс или тихо удавят в застенке. Постсталинское руководство мечтало о том, чтобы, по словам историка М. Геллера, «остановить террор на пороге ЦК».

Как можно предполагать, в этом все они были едины — от Кагановича до Хрущева. Загадка лишь в том, отчего их коллективный выбор пал в конце концов на Никиту Сергеевича? Он казался самым безобидным и слабым из них, как впоследствии Брежнев после завершения антихрущевского дворцового переворота? Или, наоборот, был самым решительным, сыграв ключевую роль при аресте Берии? Так или иначе, Хрущев пришел сначала вовсе не для того, чтобы в массовом порядке выпускать политзекów из лагерей, реабилитировать репрессированные народы или печатать Солженицына. Он пришел для того, чтобы слегка, значить, подремонтировав социализм, устремиться дальше в светлое будущее.

Чудо случилось потом.

Начав разгребать сталинские завалы, понемногу сперва освобождая политических узников и других безвинных, вообще разбираясь с драгоценным наследием лучшего друга детей, Хрущев как-то поневоле увлекся процессом десталинизации. Одновременно нахлынули воспоминания: как сам он десятилетиями ходил по острию ножа и, сатанея от обиды и ужаса, отплясывал гопака на сталинской даче. Легко представить, как на его месте поступили бы Берия или Молотов. Палачи по природе, они едва ли испытали бы сильные чувства, узнав о масштабах сталинских злодеяний, да и чего не знал про эти масштабы тот же Лаврентий Павлович?..

Никита Хрущев обнаружил в себе иную человеческую природу. Среди этого сброда он оказался чужаком. Среди каменнозадых он был самым живым и способным к проявлению старорежимных чувств: сочувствию к чужой боли, потрясению от содеянного, раскаянию. Его внезапное «перерождение» было замечательной иллюстрацией к тому известному тезису, что куда человек жив — он не безнадежен.

Освобождая страну, он медленно освобождался сам и, полагаю, чувствовал, какой это кайф — быть освободителем.

Впрочем, все это было непросто: побег из лагеря требовал и мужества, и лукавства. Чрезвычайно кипучий по натуре, Никита Сергеевич проявил замечательные организаторские черты, сплотив вокруг себя группу молодых единомышленников среди секретарей обкомов, поддержавших его накануне XX съезда. Талантливый аппаратчик, свою контртеррористическую операцию он вместе с Анастасом Микояном провел по всем правилам хитроумного партийного искусства. Выстоял в дискуссии со сталинистами, которые пытались отговорить его и пугали непредсказуемыми последствиями для партии и страны. Кинул им кость, согласившись почти не касаться данной темы в открытом Отчетном докладе. Зато 25 февраля 1956 года, выступив со своим секретным докладом на закрытом съезде партии, сказал даже побольше того, что ему написали Сулов с Поспеловым. А затем сделал все возможное, чтобы с этим текстом ознакомились не допущенные в Кремль соотечественники, а также иностранцы, включая западных читателей.

Секретный доклад потряс кремлевский зал, страну и мир.

### **«Оказался наш Отец...»**

Очевидцы рассказывали про обмороки, куда падали отдельные нестойкие представители братских компартий. О криках и столах, сотрясавших помещение. О стопудовом молчании, воцарившемся в иные минуты.

О реакции общества написаны тысячи страниц мемуаров: это был шок, который разные люди переживали по-разному. Чувство благодарности, страх, гнев идеологических и простых лагерных вертухаев — все перемешалось тогда в нашем доме, в той России, которая, по словам Ахматовой, разделилась надвое: та, что сидела, взглянула в глаза той, что сажала. Другой поэт

и драматург, Александр Галич, втиснул эпоху в рамки политинформации, случившейся в местах не столь отдаленных:

Кум докушал огурец  
И закончил с мукою:  
«Оказался наш Отец  
Не Отцом, а сукою».

Про Сталина и его эпоху докладчик рассказал далеко не все, но по тем временам — бесконечно много. Тяготы репрессий, по мнению Хрущева, испытали в основном коммунисты, однако дьявол таился в деталях. Никита Сергеевич с цифрами в руках поведал об уничтоженном «съезде победителей» — о судьбах делегатов XVII съезда партии, который чуть не в полном составе пошел под нож. О перебитом в тюрьме позвоночнике коммуниста Р. Эйхе и о массовом применении пыток в сталинских застенках. О чудовищных просчетах вождя накануне войны с Гитлером. О «деле врачей». Он не сказал ни о коллективизации, ни о голодоморе на Украине, ни об истреблении интеллигенции, ни вообще о том, что весь этот лагерный капитализм строился на костях миллионов загубленных и ни в чем не повинных советских граждан. Это была полуправда, но такая страшная, что и ее хватило на всю оставшуюся Советскому Союзу жизнь. А остальную правду досказали вернувшиеся из лагерей, которых освободила и реабилитировала партия под руководством Никиты Хрущева. Те, кто выжил, сохранил талант и не пожелал молчать, составили золотой фонд русской литературы. Шаламов. Домбровский. Солженицын. Жигулин. Заболоцкий. А вместе с ними заговорили погибшие. В легальной литературе, в самиздате, потом и в тамиздате.

Собственно, в 60-е и позже не осталось в России серьезных писателей и поэтов, кто не касался бы, подробно или хоть вскользь, главной нашей темы в XX веке — лагерной. Лагерь рифмовался со Сталиным. Тему открыл Хрущев.

Безусловно, потрясающее в целом впечатление на советских граждан усиливал тот факт, что доклад был закрытым. Чувство приобщения к тайне и к правде испытывали все — и те, кого забирали в партком для одинокого прочтения текста, и труженики отдельных предприятий, которым партия доверяла коллективное прослушивание полукрамольного доклада. Задолго до Солженицына ЦК КПСС и ее первый секретарь явочным порядком учредили самиздат — причем до боли родной, партийный. Одновременно внедряемый в массы и секретный настолько, что его легальная публикация в СССР запоздала на 30 с лишним лет.

Секретность таила в себе глубочайший смысл: так проявлялась эпоха и личность первого секретаря. Человек заполющенный, по сути не злой и очень бестолковый, он вряд ли до конца понимал, что совершил, но громадность совершенного ощущал кожей. Последний романтик социализма, Хрущев наверняка догадывался о том, какой удар нанес по единственно верному учению. Хотя с догматической точки зрения ничего страшного вроде не произошло: вот и советники натаскали цитат из Маркса про «культ личности», вот и Ленин в своем завещании очень к месту сообщил про нетактичность и неколлегиальность, значить, товарища Сталина. Но это все была идеология, дохлая священная мантра, которую живой человек Никита избивал в себе самым волюнтаристским образом. На встречах с интеллигенцией или в узком кругу он начинал во здравие, клеймя антисоветчиков и «пидарасов», но очень скоро его заносило в сторону, и тут притихшая аудитория слушала такие рассказы про сталинские времена, что перехватывало горло.

Два Хрущевых жили и правили в стране. Один читал страшный доклад про людоедские времена, другой его засекречивал. Один восхищался Солженицыным, другой травил Пастернака. Один освобождал страну, другой давил танками Будапешт и Новочеркасск и строил Берлинскую стену. Один сокращал армию и замороженными глазами глядел на Америку в двухнедельной поездке, другой все стремился «сунуть американцам ежа в штаны» и так преуспел в этом на Кубе, что едва не спровоцировал Третью, заключительную мировую войну. Один низвергал земного идола, другой крушил церкви. Один скучным голосом отбаранивал сказки про вклад товарища Сталина в дело марксизма-ленинизма, другой рассказывал быль про упыря и садиста, уничтожавшего свой народ. Какая уж там нетактичность...

Двойственность эпохи и ее лидера породила самое удивительное, яркое, обаятельное поколение советских людей в минувшем веке. Тех, кого вскоре назовут «детьми XX съезда» и «шестидесятниками». Они станут первым полусвободным поколением в несвободной стране. Из

этой среды выйдут замечательные поэты и художники, первые диссиденты, последние романтики империи... Их сломают, загонят в эмиграцию, внутреннюю и внешнюю, купят, выбросят из жизни, доведут до самоубийства, оценят посмертно. В сущности, многие из них разделят судьбу своего «отца» — Никиты Хрущева. Доживших до горбачевской перестройки будет сживать со света самая отпетая сволочь из моего поколения — так называемых семидесятников...

Двойственность «детей XX съезда» выразится многообразно. Бешеное желание славы, со-единенное со страстью к официальному признанию, загубит талант Евгения Евтушенко. Все-народное признание, ограниченное красными флажками официальных запретов, загонит в ран-нюю смерть Владимира Высоцкого. Абсолютная безнадежность жизни в «совке» вытолкнет в Америку Иосифа Бродского. Явление и уход Хрущева, дарование свобод и откат от них в застойную эпоху станут трагедией для целой генерации шестидесятников. Когда им перекроют воздух, это в самом деле будет очень больно: наглотавшись озона, вдыхать парашные испарения зрелого социализма.

Тогда в моду войдут цитаты из тыняновского «Вазир-Мухтара» — про тяжелую смерть поколе-ния декабристов, людей «с прыгающей походкой». Про «лица удивительной немоты», заполнившие вдруг столичные улицы. И о том, «как страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех... у которых перемещалась кровь!»

Что оставалось делать людям, которым сказали полуправду и вскоре ее запретили, а самым вольнолюбивым и упрямым заткнули рот? Умереть, уехать, спиться, сделать карьеру. Оставалась ирония, пропитанная болью. Издевка вперемешку с ненавистью. Кукиш в кармане. Уход в отгоро-женную от государства десятью барьерами частную жизнь. Эзопов язык. Песни Окуджавы про «черного кота» и «римскую империю времени упадка». Романы Трифонова с теми недомолвками, которые умный читатель разгадывал на лету. Театр на Таганке, клявшийся именем Ленина, да-бы как-нибудь все же намекнуть на то, что Сталин был плохой.

Это было очень забавно: для Хрущева Ленин тоже был последней ставкой в борьбе со ста-линизмом. Его якобы человечность в противовес «грубости» Джугашвили. Его якобы простота и доступность в качестве посмертного укора «небожителю» Сталину. Его типа мягкость, картавость, забота о товарищах, НЭП, завещание, ранний уход, а то бы все кончилось хорошо... Развенчивая рябого пахана, Никита Сергеевич не мог и не хотел отказываться от самой идеи. Задолго до Горбачева он начал безуспешно строить социализм с человеческим лицом и вместе со своим политбюро пугался и впадал в бешенство, когда общество, потрясенное секретным докладом, задавало простые вопросы: если при нашем строе оказалось возможным то, что случилось при Сталине, то чего стоил весь этот строй?

Сидя на троне, царь Никита Сергеевич был не готов отвечать на такие вопросы. Человек по имени Хрущев, менявшийся вместе со страной, понимал, что вопросы эти справедливы. Пар-тийный вождь по имени Хрущев сознавал, что вопросы эти губельны для государства, которое он выстраивал вместе со Сталиным.

Отсюда, из ранних шестидесятых, тянулся мостик к циничным брежневским временам. Тогда, еще при Никите, закладывалось это двоемыслие: все всё знают, но официально клянутся в вер-ности партии и вождям. Оттуда, из хрущевских лет, тянется ложь и к нашей нынешней эпохе. При всей ее неповторимости — тот же исторический откат от дарованной свободы к зажиму и дистиллированному вранью. Быть может, главная беда в том, что перестроечные вольности, как и хрущевские, были именно дарованы властью, а не завоеваны в борьбе с ней. Бог дал — бог и взял.

### **«Мне люди подадут...»**

Если в человеческой Истории есть какой-нибудь смысл, то это — движение народов к свободе. От позорного рабства к бесчеловечному феодализму, от феодализма к беззастенчивому ограб-лению трудящихся, от первобытно-общинного коммунизма или фашизма — к демократии. Исто-рия движется зигзагами, то срываясь в пропасть несвободы, то выкарабкиваясь из бездны. Схожими путями, усугубленными постоянным невезением, движется и российская история.

На Западе повороты к свободе называют прогрессом. У нас — чудом. В американской и ев-ропейской традиции ценность политического или религиозного лидера принято измерять на старых либеральных весах. В нашей традиции, сталкиваясь с политиком-реформатором, принято чесать репу и недоуменно вопрошать: да откуда он взялся? Подразумевая, что здесь, у нас

взяться ему было неоткуда. Когда из семьи Романовых являлся Александр II, из тесных рядов большевиков сталинской гвардии — Хрущев, а из маразматического брежневского политбюро — Горби, то удивлению не было предела.

Никита Сергеевич был, пожалуй, самым талантливым из всех реформаторов, живших и правивших в России. Ибо талант его был нутряной, от души и сердца, а яростная тяга к свободе противоречила опыту всей прожитой жизни. Подобно Горбачеву, он испытывал подлинное счастье, освобождая и реформируя страну. Подобно Горбачеву, он метался, впадал в отчаяние и растерянность, не зная, что дальше делать. Но путь, пройденный страной вместе с ним, от сталинизма к оттепели, был громадным, рекордным, неслыханным, немислимимым. Таких расстояний ни до него, ни после не преодолевал никто из российских перестройщиков.

Позже, на пенсии он поймет почти все и почти до конца. Прочитает «Доктора Живаго», искренне пожалев, что так жестоко обошелся с автором. В принципе пересмотрит свое отношение к интеллигенции. Окончательно утвердится в мысли, что грубиян Иосиф Виссарионович был по сути фашистом... Холодно и жестко оценит деятельность бездарных бывших соратников, которые еще при его жизни успеют довести страну до ручки. Но он не пожалеет о том, что в октябре 1964-го безропотно ушел в отставку, а не бросился, скажем, на Украину поднимать верные войска и бомбить цековские дачи с засевающими там трясущимися заговорщиками. Мирную смену власти он справедливо поставит себе в заслугу: при Сталине о таком никто бы и помыслить не смел. И все-таки, как позже Ельцин, он будет мучиться, обреченно наблюдая за тем, как медленно, но неуклонно уничтожаются его политические завоевания. И столь же мучительна будет ломка безвластием: привыкший повелевать, он в первые месяцы после ухода испытает почти невыносимые терзания одиночества и унижения.

На фотографиях последних опальных лет, закутанный в безразмерное пальто, он будет выглядеть насмерть обиженным ребенком. Какой там отец поколения — бедное обманутое дитя XX съезда.

Утешением здесь послужит лишь ясное осознание своей великой исторической роли. Когда его начнут тягать в ЦК, заставляя отказаться от работы над мемуарами, он бросит в лицо все-сильному тогда, а ныне намертво забытому первому заму Брежнева Кириленко: «Вы можете отобрать у меня все — пенсию, дачу, квартиру... Ничего, я себе пропитание найду. Пойду слесарить, я еще помню, как это делается. А нет, так с котомкой пойду по людям. Мне люди подадут. А вам никто и крошки не даст. С голоду подохнете».

И он доведет до конца главное дело своей жизни, если не считать десталинизации СССР, которое довести до конца он так и не сумел, да и не мог: запишет на пленку свои воспоминания. Надиктует их, сидя в одиночестве или вместе с сыном Сергеем Никитичем перед магнитофоном. «Сталин груб был и невнимателен был, значить...», — скажет он. И разные другие слова. Голос Истории звучит глуховато, неторопливо, печально, чуть комично.